

Ольга Кучкина

СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ

ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ

Серия «Самое время!»

Свободная любовь — на первый взгляд, вещь довольно сомнительная. Обычно за этими словами скрывается внебрачная, а то и продажная любовь. Ею занимались жрицы любви, чью профессию именовали второй древнейшей. Потеряв флер загадочности и даже величия, она дожила до наших дней в виде банальной торговли телом. Не о ней речь. Свободная любовь — вымечтанный личный и общественный идеал. Любовь мужчины к женщине, любовь человека к человеку, любовь к жизни — свободная любовь. Валентина Серова и Константин Симонов, Инна Чурикова и Глеб Панфилов, Сергей Юрский и Наталья Тенякова, Сергей Соловьев и Татьяна Друбич... Их истории составили третью книгу — «Свободная любовь» — как продолжение первых двух — «Смертельная любовь», и «Любовь и жизнь как сестры».

Несколько слов от автора

Свободная любовь — на первый взгляд, вещь довольно сомнительная. В обиходе за этими словами скрывается внебрачная, а то и продажная любовь. Ею занимались жрицы любви, чью профессию именовали второй древнейшей. Потеряв флер загадочности и даже величия, она дожила до наших дней в виде банальной торговли телом.

Не о ней речь.

Свободная любовь — личный и общественный идеал. Когда никакие узкие правила, никакие низкие зависимости не могут противостоять необоримому чувству, какое мужчина питает к женщине, человек — к человеку. Это чувство диктует строй мыслей, строй быта и бытия, главное условие которого — внутренняя свобода.

Конфуций беспримерно раздвигает границы понятия свободной любви: «Любовь — это то, чем живет небо, его закон. Стремление к достижению любви — это то, чем живут люди. Тот, кто обладает любовью, является таким, который без усилий ходит по истине и без напряжения мысли понимает истину, закон неба, — это тот мудрый человек, который естественно и легко ходит по пути праведности. Тот, кто достигает любви, избирает только добро и всеми силами держит его».

Конфуций еще говорит о том, что когда человек достигает любви, она «делается ему ясной. Сделавшись же ему ясной, она становится для него совершенно открытой. Будучи же открытой, она становится блестящей. Будучи же блестящей, она заражает других. Когда же другие заражаются ею, то они совершенно меняются. Измененные же ею, они делаются другими».

Мария Симонова
Сожжённые письма

«Здравствуй, Машка, здравствуй, дочка! Получил твои листочки, получил тире и точки и косые буковки, похожие на пуговки...»

Маша — Мария Кирилловна Симонова, тоненькая обаятельная женщина. Это ей адресовано письмо отца, знаменитого поэта Константина Симонова. Ее мать — знаменитая актриса Валентина Серова.

Дочь двух легенд, Маша Симонова сегодня меж двух огней. Она понимает, что отношения Серовой и Симонова, ставшие известными благодаря потрясающему поэтическому циклу «С тобой и без тебя», невозможному для сталинских времен откровению, уже никогда не будут личным делом только этих двоих. И ее больно бьет неделикатность журналистов, когда они грубо лезут в самый трагический роман века. «Их, интерпретаторов, создателей лживых легенд, никто не может одернуть — заступников просто уже нет в живых», — написала она в письме ко мне.

Заступники, по счастью, есть.

Она сама, Маша, такая заступница.

— Среди мифов и слухов о Валентине Серовой — ее таинственная смерть...

— Я вам расскажу. Когда мама умерла... Я уже вышла замуж и жила с мужем отдельно. Мама лежала сутки в запертой квартире, пока не появилась ее приятельница, тетя Лилия, у которой был второй ключ, и не открыла дверь: мама лежала на кухне, у нее было разбитое лицо, на полу валялась чашка, думали даже, что это убийство. Я когда пришла, не узнала квартиры: ни мебели, ни посуды, ни картин, ни Фалька, ни Петрова-Водкина, голые стены. Что-то было продано, что-то утащено. Пустой дом. Я до сих пор помню этот запах пыльных книг, вина, папирос, театрального грима... Следователь спросил меня: «А где архив?» Я говорю: «Какой архив?» Он говорит: «Ну какие-то бумаги?» Я говорю: «Ничего нет». Я не могла и не хотела сказать ему. Потом я взяла четыре пакета с бумагами, они у нее в таких крафтовских пакетах хранились, и унесла.

— Трудно было сесть разбирать?

— Трудно. Очень. Я долго не могла взяться. Но потом я все прочла. Я ходила все время как сомнамбула. Под

впечатлением от прочитанных писем: его — ей.

— *Маша, а мама давала вам читать эти письма?*

— Нет. Но она говорила: если со мной что-то случится, они там. Ей важно было, чтоб они сохранились. А потом приехал папин секретарь Марк Келлерман. «Маша, папа просит, чтоб все эти бумаги ты отдала ему». Я говорю: «Папа просит? А сам он не может попросить?» Он уже лежал в больнице, и я пришла к нему в больницу. Я попыталась посопротивляться. Но это было невозможно. И тогда я села снимать ксерокопии. То есть какие ксерокопии — просто стала переписывать письма, муж помогал...

— *Вы боялись, что Константин Михайлович уничтожит их?*

— Да. Так и произошло. Когда я приехала в следующий раз, я его не узнала. У него как будто постарело лицо, опустились плечи. Он сказал: «Я говорил тебе, что уничтожу письма. Я уничтожу их». И в глазах такое страдание! Я поняла, что он снова переживает прошедшее. «Прости меня, девочка, — сказал он, — но то, что было у меня с твоей матерью, было самым большим счастьем в моей жизни... и самым большим горем». Его можно понять...

Входивший в моду поэт Константин Симонов увидел восходящую звезду советского кинематографа Валентину Серову, необыкновенную, нежную, дерзкую, капризную, когда погиб ее муж, блестящий летчик, Герой Советского Союза, участник боев в Испании, Анатолий Серов. Симонов влюбился сразу. Серова — нет. Он добивался ее любви. Он убеждал, что она его полюбит. Что он заслужит эту любовь. Кажется, так и случилось.

Одно из писем Симонова к Серовой, сохраненных дочерью: «Я счастлив что исполняется сейчас когда ты меня любишь (как хорошо писать и выговаривать это слово, которого я так долго и упрямо ждал) то о чем я тебе самонадеянно и тоже упрямо говорил давно кажется сто лет назад, когда был Центральный телеграф и несостоявшееся Арагви и когда ты меня не любила и может быть правильно делала — потому что без этого не было бы может быть той трудной, отчаянной, горькой и счастливой нашей жизни этих пяти лет».

Февраль 46-го, Токио. Почти без запятых. Он всегда писал без запятых, словно не желая тратить время на пустяки, устремляясь только вперед.

За счастьем последовало горе.

Валентина Серова, уже будучи женой Симонова, полюбила еще одного блестящего человека, будущего маршала Константина Рокоссовского. А будущий маршал полюбил ее. Они не нашли в себе сил поменять судьбу и соединить свои жизни. Серова сломалась. Видимо, в алкоголе искала утешения.

— *Вы, конечно, не успели переписать все письма...*

— Нет, я переписала штук двадцать. Всего было, может, сто пятьдесят — двести листов. Там еще были рисунки, открытки, записочки мне. Мама все хранила. Я пыталась переписать самые сильные письма. Но я вам расскажу, что было с ними дальше. Володя Медведев, очень хороший художник, иллюстратор, когда была задумана книга из серии «Самые мои стихи», хотел сделать так: поэт и его муга. Потом это трансформировалось, решили: поэт и все его окружение. Но сначала, когда Володя просил меня помочь, я дала ему прочесть письма: не для публикации, а просто чтоб он имел возможность почувствовать, что была для моего отца моя мама. А тут подоспело 80-летие отца, и Егор Яковлев попросил что-нибудь написать для его газеты. Я говорю: давайте я напишу о матери отца, моей бабушке, княжне Оболенской-Шаховской, из Института благородных девиц. И написала, объяснив, как Кирилл стал Константином.

— *А как он стал?*

— Он маленьким случайно чиркнул бритвой по языку, после чего не смог произносить твердо «р» и «л», отсюда знаменитая симоновская картавость. И отсюда же перемена имени. А дальше мне звонит Володя Медведев и говорит: «Ты не возражаешь, если Егор возьмет несколько записочек твоего отца к тебе, чтобы поставить рядом с твоей заметкой?» Ну конечно, я не возражала. А потом последовал еще один звонок, когда изменить что-либо было поздно. Володя сказал: «Ты уже уехала в ЦДЛ на празднование юбилея, а Егор заставил меня отдать ему письма и сказал, что все берет на себя...». Я обомлела. На следующий день я прихожу на работу в Фонд гласности, Алеша Симонов, мой брат, на меня не смотрит. Я говорю: «Алеш, ты что?» А он говорит: «А ты что? Ты „Общую газету“ не читала, ты же обещала не публиковать!» И показывает мне шесть напечатанных писем. Он месяц со мной не разговаривал. И я его понимаю. Я бы тоже со мной не разговаривала. Но в глубине души я себя утешала тем, что, может быть, мама была бы довольна. Не самой публикацией. А тем, что теперь понятно: она была ему другом. Даже не то что любовницей — а другом. Она этим

очень дорожила. Он обсуждал с ней все. Она не правила ему строчки стихов, но всегда что-то замечала, а он говорил: «Поставь там галку». И смотрел потом, и поправлял. Мама знала все его стихи наизусть. Может быть, я преступила его волю, но я так сделала. Потому что для меня важнее всего как для дочери не то, какой он был писатель и поэт, а то, какой он на самом деле был человек.

Май 1945 года, Берлин, за два дня до объявления окончания войны: «Мы так можем много доставить счастья друг другу когда мы прижаты друг к другу, когда мы вместе, когда ты моя, что кощунство не делать это без конца и без счета. Ох как я отчаянно стосковался по тебе и с какой тоской и радостью я вспоминаю твое тело. Я тебя люблю Валька, и мне сегодня ничего не хочется тебе писать больше. Сейчас еще рано — чуть рассвело, уезжаю на два дня на передовые <...> — а сейчас как будто держу тебя в руках и яростно ласкаю тебя до боли до счастья до конца и не желаю говорить ни о чем другом — понимаешь ты меня моя желанная, моя нужная до скрежета зубовного...»

Как чисто и сильно выражена страсть. Как много настоящего, мужского, человеческого открывают эти строки в том, кому принадлежат.

Дело двоих. Это так. И жест Симонова, жгущего листки, на которых это написано, благороден и понятен.

Но то, что они — вопреки огню — остались...

Ничего не бывает случайно. Любовь побеждает не только смерть. Она выжигает дрянь, сплетни, злословие.

— *Маша, вас больше всего оскорбило появление вот этой эпиграфии, а скорее, эпиграммы, «...моя и многих верная жсена», якобы написанной Симоновым?*

— Да. Зная отца, я ни единого мгновенья не сомневаюсь, что он никогда бы не мог позволить себе сделать это. Я догадываюсь, кому, какому острословью это могло принадлежать. Но не отцу. И повторять сегодня эту грязь — оскорблять память Серовой.

— *Забудем об этом. Маша, эти письма относятся к тому времени, когда они были вместе. А когда расстались, они уже не писали друг другу?*

— Писали. Но это совсем другие письма. Я никогда не стану о них говорить. Уже я появилась у них в 1950-м. В письмах до 50-го видно самое лучшее, что было в отце. 50-й — это рубеж. Он был один при ней и совершенно другой,

когда они расстались в 1957-м. Он стал человеком власти, понимавшим и принимавшим власть более, чем следовало бы, как мне кажется, и это тоже не могло на нем не сказаться.

А потом... Ну, отдать ребенка в чужие руки, запретить матери его видеть...

— *Вас отдали бабушке, маминой маме, актрисе Клавдии Михайловне Половиковой?*

— Да. И там была совсем другая атмосфера. У мамы полная искренность и честность. Я даже думаю иногда: ну будь она хоть чуточку похитре!.. Но она была такая, как есть. И в этом ее талант. А у бабушки и обман поощрялся, и ложь, даже воровство... Да, вот так. Наставали на том, что мама больна, поэтому ей нельзя доверять ребенка...

Маша унаследовала искренность матери.

В набросках к будущей книге Маша напишет: «...помню смутно тепло и нежность, лучистые глаза на уже немолодом лице, которое неумолимо превращалось в искореженную временем и болезнью маску. Я не столько знала ее, сколько чувствовала ее душу. Но все-таки из двадцати пяти лет нашей с ней жизни, с моего рождения до ее ухода, в общей сложности наберется десять лет, которые были отпущены мне, чтобы я жадно впитывала ее в себя. Но я не впитывала, предпочитая школьных подружек ее обществу. Стыдясь ее болезни, я боялась быть с ней на людях, сторонилась тех, кто ее хорошо знал. Я прогоняла ее, когда вдруг среди ночи она будила меня, чтобы рассказать что-то. Мне невыносимо было видеть ее лицо. Но были и другие — редкие дни, когда ей удавалось гасить свою боль-болезнь, когда мы дружили, она строила планы и — очень редко и скрупульно — вспоминала...».

Симонов разлюбил Серову враз, резко, так же, как полюбил. Разлюбив, развелся, снял все посвящения ей. Только оставил «В. С.» над стихотворением «Жди меня», которое знал наизусть весь советский народ. Серова этого не ожидала. Привыкнув к его любви, как будто даже и не очень нужной ей, растерялась, оставшись одна. Что имеем — не храним, потерявши — плачем. Пила, звонила подругам.

Из воспоминаний актрисы Инны Макаровой: «Мне кажется, я все еще слышу в трубке ее возбужденный отрывистый голос. Она сдерживается изо всех сил и говорит с хладнокровным отчаянием пьяного человека, пытающегося сохранить невозмутимость, не взорваться потоком слез или проклятий. Похоже, она все еще пытается что-то доказать. Кому? Мне, себе, ему?..»

— Почему же Константин Михайлович не брал вас к себе, в свою семью?

— Как-то раз я спросила, почему. Он ответил, что, когда завел этот разговор, Лариса Жадова, его жена, сказала: «Ты можешь поручиться, что Валя у нас не появится?» «Я поручиться не смог, — сказал он. — И больше этот разговор не возобновлялся». У них было две девочки: их общая дочь и дочь Ларисы от брака с поэтом Семеном Гудзенко, они оберегали девочек от дурного влияния. Ларису тоже можно понять...

— Вы, Маша, всех понимаете... А где мама похоронена?

— На Головинском кладбище. Прах отца развеян в Белоруссии под Могилевом, на Буйничском поле. Он описал это поле в романе «Живые и мертвые».

— Вы ездили туда?

— Мы все ездили, и брат Алеша, и сестры.

— Вы дружите со сводными сестрами?

— Да. Вот все вместе смотрели бюст Константина Михайловича, который сделала скульптор Нелли Ганрио. Не знаю, удастся ли выкупить, большие деньги, а их нет...

— Вы любили его?

— Я всегда его побаивалась. В школе на педсовет родителей вызывали — я его боялась как огня. Он никогда не повышал голоса, но для меня это его закаменевшее лицо и тихое грассирующее «р»... Я готова была провалиться сквозь землю. Но другие вещи... честь, достоинство, благородство... я такого ни в ком не встречала. Знаете, я неверующий человек, хотя крещеный. Моя молитва — его стихи. Я молюсь его стихами.

— Необыкновенно. Необыкновенная жизнь. У вас, я имею в виду. Быть дочерью Серовой и Симонова!..

— Я просто была трусом. От трусости — не подойти, не спросить о чем-то, о чем теперь уже не спросишь... из страха вызвать раздражение. Он был закрытый, сухой человек. Только один раз в нем прорвалось, когда приехал в роддом, где я родила сына, Алешу, — огромные голубые глаза, блондин, а папа всегда хотел вот такую дочку. И вдруг я увидела моего отца, который для меня всегда как аршин проглотил, а тут такое счастливое лицо!..

— Маша, не ругайте себя. Оттого, что вы не узнали каких-то фактов. Есть нечто, что над фактами. И теперь с вами происходит гораздо более важная вещь, если вы молитесь стихами отца и не расстаетесь с образом матери.

Говорят, что писателя надо судить по самому высокому, что он сделал. Но и человека стоит судить по самому высокому, по тому что заложил в нем Господь. И эти сожжённые письма — слава Богу что вы их сохранили. Так надо было.

— Спасибо, что вы говорите мне это.

— *Остальные письма вы не публиковали?*

— Для меня еще звучит его голос, когда он решил забрать всё и сжечь. Случайно получилось — да. А дальше...

— *Что вы окончили, Маша?*

— Областной педагогический. Я учителька. Но уже на четвертом курсе я была беременна. И так и осталась дома. Сын Алеша вырос, работает на телевидении. А я пошла работать к брату Алеше в Фонд защиты гласности. Его создал в 91-м году Егор Яковлев после Вильнюса, брат был его замом. Тогда, помните, была шумная история на первом канале телевидения, бунт против тогдашнего начальника Кравченко, когда ушли Таня Миткова, Дима Киселев и другие. А я работала в газете «Советская культура» в отделе политики. В связи с вильнюсскими событиями я принесла материалы на первую полосу, их отложили в сторону и стали ставить другие. Я сказала, что не подпишу полосы, и подала заявление об уходе. Алеша взял меня в Фонд. Меня в школе называли адвокатом...

— *А вы знаете, что Елену Боннэр тоже называли в школе адвокатом?*

— Да вы что!..

Маша показала мне тоненькую школьную тетрадку, в которой карандашом полудетским почерком Валентина Серова, одна, теряя буквы и строки, переписывала стихи Константина Симонова «День рождения», посвященные ей когда-то:

Поздравляю тебя с днем
рожденья, —
Говорю как с ребенком:
Пусть дыханье твое
и пенье
Будет чистым
и звонким.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Константин (Кирилл) СИМОНОВ, поэт, драматург, прозаик

Родился в 1915 году в Петрограде. Отец пропал без вести в Первую мировую войну. Мать — из рода Оболенских. Отчим — командир РККА.

Перед войной окончил ИФЛИ. Первые стихотворения появились в журналах «Молодая гвардия» и «Октябрь». В 1939 году в качестве военкора был отправлен на Халхин-Гол, в Маньчжурию. С началом Отечественной войны мобилизован, завершил ее в чине полковника. Всю войну в «Красной звезде» и других газетах печатались его стихи и очерки. После прогремевшей пьесы «Парень из нашего города» последовали пьесы «Русские люди», «Жди меня», повесть «Дни и ночи», поэтическая книга «С тобой и без тебя». Два слова — «Жди меня» — звучали как пароль. Это было самое популярное стихотворение военных лет.

По окончании войны последовали длительные зарубежные командировки в Японию, Соединенные Штаты, Китай. В конце 60-х — на должности собкора «Правды» в Ташкенте. Это был род ссылки — месть партийных чиновников за либерализм, проявленный сперва на посту главного редактора журнала «Новый мир», затем — главного редактора «Литературной газеты». Его личными усилиями были возвращены читателю похождения Остапа Бендера пера Ильфа и Петрова, увидели свет книжные издания романа Булгакова «Мастер и Маргарита» и романа Хемингуэя «По ком звонит колокол», осуществлены переводы пьес Артура Миллера и Юджина О'Нила, напечатана знаковая повесть Кондратьева «Сашка»...

По его сценариям поставлены фильмы «Парень из нашего города», «Жди меня», «Дни и ночи», «Бессмертный гарнизон», «Живые и мертвые», «Двадцать дней без войны».

В основу легла его военная проза. И читатель, и зритель приняли ее с большим воодушевлением.

Трижды женат. Вторая жена — актриса Валентина Серова.

Изживание прежних иллюзий в отношении к Сталину и к сталинскому режиму, который во многом ему благоприятствовал — пять Сталинских премий чего стоят, — составляло последний период его жизни.

Он умер в 1979 году, завещав развеять свой прах над Буйничским полем возле Могилева. Воля его была исполнена.

Валентина СЕРОВА, актриса

Родилась в 1917 году в Харькове. Мать — актриса Вахтанговского театра Клавдия Половикова, снимавшаяся также в кино. В десять лет Валя впервые вышла на сцену. Профессиональную карьеру начала в ТРАМе (позднее переименованном в Театр имени Ленинского комсомола, затем — в «Ленком»). В 1938 году она становится женой прославленного летчика Анатолия Серова. Ровно через год он разбивается на испытательных полетах. Родившийся сын получает имя Анатолий в честь мужа. Когда через три года она выходит замуж за прославленного поэта Константина Симонова, мальчика отдают в интернат на Урале. Мальчик кончит колонией, алкоголизмом и ранней смертью.

Звездные роли Серовой в кино с конца 30-х годов привлекают огромное множество поклонников. Фильмы «Девушка с характером», «Сердца четырех», «Жди меня» становятся «культурными».

После войны у Серовой и Симонова рождается дочь Маша. Пятнадцать лет брака заканчиваются, однако, тяжелейшим для Серовой разводом. Алкоголизм делает ее жизнь и жизнь с ней невыносимой.

В декабре 1975 года ее находят мертвой в ее квартире.

Похоронена на Головинском кладбище рядом с отцом Василием Половиковым.

Олег Табаков

Безнадежно испорченный русский человек

30 лет назад на экраны вышел фильм «Несколько историй из жизни И. И. Обломова». Главную роль известного русского ленивца сыграл Табаков, полная его противоположность: скорее Штольц, нежели Обломов.

Энергичный, моторный, мощный Табаков может все и все успевает.

Связка ключей

— *Про тебя говорят, что ты любишь носить на брюче связку ключей — что это значит?*

— Это было в процессе освоения подвала, который потом назвали «Табакеркой». Тогда надо было контролировать процесс. А когда прибавилось уже и это, мхатовское, хозяйство — ключи как-то отошли в прошлое.

— *Ты себя ощущаешь хозяином? Или, скажем, ребенком..*

— Когда человек говорит про себя, что он ребенок, это означает, что у него сохранилась свежесть ума пятилетнего ребенка или нерастроченное жеманство, не канализированное естественным способом. Ни к той, ни к другой категории не отношусь. Хозяином я себя ощущаю — да. Это выкисталлизовалось, когда меня в 73-м году Министерство культуры вытолкнуло в Великобританию ставить спектакль «Ревизор».

— *Первая твоя зарубежная постановка?*

— Да. Почему я туда попал, не стоит объяснять. Возможно, хотели снизить средний возраст выезжающих режиссеров. И вот там я, практически впервые, понял, что все зависит не от вышестоящей организации и даже не от министра культуры Екатерины Алексеевны Фурцевой, а от тебя самого. Если хочешь, чтобы тебя позвали еще раз, ты должен сделать свою работу качественно, чтобы она долго продержалась в репертуаре.

— *Это не чувство хозяина, это что-то другое...*

— Чувство хозяина своей судьбы — я в этом смысле говорю. Хотя сейчас, по прошествии лет, я думаю, что я никакой не режиссер, а, наверное, очень профессиональный, квалифицированный актер, который может научить какое-то количество других актеров играть хорошо. Это все вместе не

называется спектаклем в моем понимании. Но это очень редкое свойство.

— *Как ты их научаешь?*

— Просто у меня штампов так много, что я их раздаю. Как Михаил Михайлович Тарханов говорил молодым артистам: у меня шестьсот штампов, а у вас шесть.

— *Штамп — это ты про наблюдал за кем-то и сложил в копилку? Или что-то в себе открыл, что-то сделал и запомнил? Скажем, в знаменитой роли молодого Адуева в «Обыкновенной истории», поставленной Галиной Волчек...*

— Не-ет! Адуев — это акт познания... Из идеалиста — в махровые конформисты. Я боюсь показаться патетичным, но это — время, выраженное в человеке. Такое нечасто удается актерам.

— *То есть когда речь идет о жанре...*

— Когда речь идет о жанре, я скажу тебе, как я поступал. Первая роль в «Современнике», безусловно принесшая успех, была довольно игривая, в пьесе Блажека «Третье желание». Мне было двадцать пять. Ставил единственный спектакль в своей жизни мой любимый актер Женя Евстигнеев. Как говорится: доверил — и не проиграл. Это было 35-минутное антре, последовательно и подробно рассказывающее, как человек пьянеет. С придуманной мною репризой: причина та же....

— *Ставшей весьма популярной...*

— Да. И в конечном итоге зрители доходили до мочеиспускания.

— *Откуда брал, как лепил образ?*

— Это был гибрид из моего тестя, отца Людмилы Ивановны Крыловой, и еще одного соседа, так же, как и тестя, печатавшего газету «Правда» по ночам лет пятьдесят.

— *Ты в детстве был такой маленький Молчалин. Молчалин, а не Чаккий. Санчо Панса, а не Дон Кихот. Но за жизнь мы кардинально меняемся: в Молчалине каким-то образом прорастает Чаккий, в Санчо Пансе — Дон Кихот..*

— Оль, я не склонен рассказывать об облагораживании моей души. Я отношусь к категории тех мужчин, которые совершают поступки. Я помогаю людям не по директивному регламенту или спущенной сверху рекомендации. В свое время, будучи директором «Современника», я отказал племяннице зампреда Совмина: не взял ее в театр. И не одной ей. Ну, в силу того, что я был баловень судьбы и довольно молодой директор, это сходило с рук. Или вот недавно поназывали по телевидению какой-то телевизионный фильм и

в нем неосторожно сказали, что я купил стулья для зрительного зала Дворца пионеров. Я действительно купил эти стулья — я больше не буду к этому возвращаться, — но я об этом не говорил. И о других вещах не говорю и говорить не буду. А те, кто говорят, они у меня...

— ...проходя по другому разряду?..

— Да. Поэтому кем я стал, Господь ведает. Наверное, сочтемся славою, свое место мне отведут.

— Но ты никогда не хотел играть Гамлета...

— Нет. К слову, и Иннокентий Михайлович Смоктуновский, с его мощным талантом, на мой взгляд, средне играл в одноименном фильме эту роль...

— А «Гамлет» в твоем МХТе тебе нравится?

— Я думаю, это незавершенная работа, но мне нравится.

— Я влюблена в твоих молодых актеров.

— Я тебе еще скажу про Смоктуновского. Когда мы халтурили в одно и то же время на студии научно-популярных фильмов в Алма-Ате и писали текст, я про сахарную свеклу, а он, по-моему, про поголовье бараньего стада — ах, какие дивные у него были интонации! Понимаешь, дело не обязательно в масштабе роли, которую играет актер... Дело в том, как много он может в эту роль вложить.

— У тебя самая масштабная роль — ком Матроскин, всенародный любимиц.

— А почему нет? У Бориса Бабочкина — Чапаев. Чем Матроскин хуже? Даже, думаю, Матроскин ширше в сознании народа. Потому что дети сменяются, а там все-таки ограниченный контингент.

Маршал Лелик

— Когда я попросила тебя о встрече, ты сказал: ничего интересного, я удачник...

— Я удачник, выполняющий взятые на себя обязательства.

— Меня как раз интересует философия удачи.

— Восемь лет назад — в зале 40 % зрителей, женщины-актрисы гасят окурки о батареи в гримерных, срач, пьянь, воровство. На приведение в норму понадобилось меньше полугода.

— В чем секрет?

— В неотвратимости наказания и отсутствии индульгенций. Кто бы ни был, как бы ни был — и так далее. Два сезона понадобилось, чтобы появились аншлаги.

— Чего это тебе стоило? Тебе?

— Я не склонен об этом говорить. На все я положил восемь с половиной лет. Я сократил реализацию своих актерских способностей раза в четыре. За восемь первых актерских лет я снялся в сорока фильмах, в результате чего заработал инфаркт в двадцать девять. Тут, видишь, инфаркта нет...

— *А давление?*

— Нормализовал. Четыре ингредиента, и нормально.

— *Ты, когда маленьким писал папе письма, подписывался: «маршал Лелик Табаков». Этот маршальский жезл так и носил всю жизнь?*

— Честолюбец? Наверное, честолюбец. Хотя какое честолюбие! Как говорится в одной несовершенной эпиграмме: «Волосы дыбом, зубы торчком, старый м...к с комсомольским значком». Евтушенко — по-моему, про Безыменского. Ну какой безумец мог пойти в этот театр в 2000-м году! Ты вспомни...

— *Лелик, очень много причин, чтобы тебе пойти в этот театр. Твоя любовь и роман всей твоей жизни с Олегом Ефремовым..*

— Это единственное... Нет, не единственное, конечно. В этом доме мне дали в руки профессию, которая меня хорошо кормила. В этом доме я видел самые удивительные театральные свершения. «Три сестры» Немировича-Данченко... но и руинного состояния «Горячее сердце»... Фантастические работы главного учителя по профессии. Василия Осиповича Топоркова. В «Плодах просвещения» он — профессор Круглосветлов. Верхогляд в смысле науки, Лев Nikolaевич Толстой пишет профессору Круглосветлову не просто абракадабру, а не знаю что. Но к третьей минуте я себя ловил на том, что я понимаю все, что он говорит...

— *У тебя у самого есть такая роль — Нильса Бора в спектакле «Копенгаген».*

— Василий Осипович — главный учитель. Хотя и Наталья Иосифовна Сухостав, дочь чешского профессора, руководительница драмкружка в Саратове, тоже, и Олег, конечно — по системе этических координат театра... Василий Осипович приходил, уже совсем пожилой, ширилка иногда расстегнута, и перехоть на пиджаке, а у меня слезы выступали — я так его любил. Он говорил какие-то очень важные вещи на занятиях. А вечером я смотрел спектакль, где он все реализовывал. Вот это и есть самый продуктивный, самый плодотворный способ педагогики. Потому что ремесло наше, оно как у замечательного сапожника — из рук в руки.

— *А все-таки — что надо для того, чтобы стать удачником?*

— Чтобы стать удачником, им надо родиться. Если ты спрашиваешь, что надо, чтобы стать конформистом, это совсем другой рецептурный справочник и совсем другой смысл.

— *Ты человек, принимающий вызовы судьбы?*

— Да. Ведь в первые года четыре, если ты посмотришь средства массовой информации, что писали! Ну немыслимо!

— *А что писали?*

— Буржуазность... а зачем... а где тайна... Писали, что мне дают деньги меценаты, и поэтому все хорошо. Смотри, вот заработанные в поте лица деньги театра — они дают среднюю заработную плату за прошлый месяц. 58,5 тысяч. Это, конечно, с грантом Президента. Я тебе скажу, чем отличается этот театр. Я бы сюда еще и подвал добавил. Здесь наибольшее количество актеров, видеть которых доставляет радость зрительному залу. Так было в «Современнике»...

— *Олег, но это твоя стезя — тебя всегда укоряют за что-то. В том же «Современнике» укоряли, что ты клоун, еретик, театр гражданская позиции защищает, а ты эпиграммы по этому поводу сочиняешь. Но поскольку ты не любишь о своем благородстве распространяться, я напомню, как, получив предложение сняться в роли Есенина с Ванессой Редгрейв в роли Айседоры, ты поломал контракт, потому что в этот момент театр боролся за свою знаменитую трилогию «Декабристы», «Народовольцы», «Большевики», и ты посчитал нужным быть с театром.*

— Это идеализм «Современника», его последние спазмы.

— *Значит, ты тоже был идеалист.*

— Конечно. Я боюсь, что я и до сих пор такой. Просто количество защитных средств, путающих моих оппонентов, прибавилось. Я тебе скажу, в моем фундаменте есть несколько опор: мои дети, в диапазоне от сорока восьми до двух с половиной лет, и мои ученики. Если собрать сборную команду, как говорят американцы, dream team, команду мечты, самых интересных, самых значительных актеров этого помета, от тридцати до пятидесяти, потому что я преподавал двадцать пять лет, думаю, половина будет моих. Почему, собственно, я начал заниматься педагогикой? Потому что очаровательная Люся Крылова, моя тогдашняя жена, родив сына и дочь, не захотела больше рожать. Если бы она, вслед за моей бабушкой, родившей семерых, двое померли, а пятеро были живы...

Утин и «Утятница»

— Я тебе еще подскажу, кто твоя опора. Твоя мама-доктор. Твой папа-доктор, похожий на доктора Чехова...

— Да, это то, что было вывезено из Саратова. Это — защищенная спина. Когда какой-то жизненный удар — я чувствовал, что мама как бы подставляет свою руку. И еще был человек — внучка художника Валентина Александровича Серова, Олечка Хортик.

— Ты какое-то время жилу них...

— Был нахлебником. Она вправила мне привычный вывих конформизма.

— Тогда-то Молчалина мы из себя и удалили?..

— Да. Да. Царство ей небесное.

— Как она это сделала?

— Путем любви. Я думаю, она меня любила. Понимай как хочешь. Она была много старше меня.

— Я понимаю как надо. Я вообще думаю, что все в мире делается путем любви.

— А как же, абсолютно. Это ты совершенно права в своем заблуждении.

— Я с некоторым удивлением прочла в твоей книжке «Моя настоящая жизнь», что вы часто совпадали в мыслях с Лилей Толмачевой, не обмениваясь даже этими мыслями, но догадываясь, что они таковы. Лиля — самая светлая душа театра, наивная и чистая, и именно с ней...

— Я об этом сказал в первый раз на стодесятилетии МХАТа. Что я довольно рано узнал так много мерзости, так много дряни театральной и так много прекрасного, возвышенного, нигде больше не встречающегося, что меня уже ничем не удивишь.

— Кроме Лили — Александр Володин...

— Я ему звонил время от времени и говорил, что я его люблю. До слез. Он очень терялся. Это непривычное...

— Хотя, казалось бы, чего проще... А ты часто плачешь?

— Редко. Но плачу.

— Отчего?

— Странные, знаешь, вещи. Вот от девочек, которые в Оренбургской губернии погибли в обрушившейся школе.

От того, сколько я буду видеть Машку, младшую. Это у меня с молодости. Я Отомара Крейчу, чешского режиссера, вез по Московской области, дорогу переходила старушка, и я, глядя на нее, заплакал. Он смотрит: ну ты м... к...

— Сильно развитое воображение...

— Да. Я несколько раз срывался с репетиции, думая, что с мамой что-то случилось — такой импульс, дорисовывающий беду... Знаешь, в детстве мне мой дядя Толя рассказывал: был 18-й год, уже свершился переворот Октябрьский, это было в доме у деда, Андрея Францевича Пионтковского, в городке Балта Одесской губернии. «Балта — городок приличный, городок что надо, нет нигде румяней вишни, слаще винограда». Стук в ворота господского дома, мамин младший брат Толя в нижней рубашке выходит сонный во двор, ему лет тринадцать, вот-вот сломают ворота, и он видит, как старый-старый еврей, с пейсами, бежит, видимо, оттуда, где он прятался в доме моего деда, и с разбегу перемахивает через забор, а высота забора — метр восемьдесят. Этот рассказ мне несколько раз снился... Наверное, это мера страха за свою жизнь... вообще за жизнь...

— *И мера сверхспособностей, которые включаются...*

— Я тебе скажу про деда Андрея Францевича — откуда начало двойной бухгалтерии, что ли, эстетико-политической. Бабушка рассказывала, как он, владея с 13-го года островом возле Капри, помимо огромного имения в Балтском уезде, спустя два года и два месяца после Октябрьского переворота умер в своей библиотеке, в своем доме, в своей постели. У Менделеевых библиотеку сожгли, а он — в своей постели, его крестьяне содержали и кормили.

— *Почему?*

— Наверное, делал много добра.

— *Он поляк?*

— У меня четыре крови — польская, русская, мордовская и украинская. Я даже не Табаков, я Утин. Потому что на самом деле фамилия по папе — Утины. Бедного Утина Ивана богатые крестьяне Табаковы взяли на воспитание. И дедушка, Кондратий Иванович, отец папы, Павла Кондратьевича, уже был Табаков.

— *A то была бы не «Табакерка», а «Утятница»...*

Паша и Маша

— *Скажи, пожалуйста, ты уже научился быть мужем Зудиной? А Зудина научилась быть женой Табакова?*

— Да. Я думаю, что рождение Марии завершило не только круг знакомства, но и утверждения себя. Не профессионального, а вот в жизни. Это я думаю о Марине. Что до меня — я довольно рано все понял. По сути дела, такой подарок судьбы! Федор Иванович Тютчев все сказал:

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru